

# ВЕЛИКАЯ ДОЛЯ

## Труды Василия Белова

---

На Ярославском вокзале, в торговом ряду, заваленном развлекательным чтивом, Василий Белов увидел сиротливо томившийся однотомник Ивана Ильина — любимого им философа — обрадовался и заторопился достать деньги, чтобы купить эту книгу. И каково было его удивление, когда хозяйка этих лотков вдруг сказала ему: «Василий Иванович, с вас денег не возьму — я дарю вам эту книгу. Но прошу на память оставить автограф». И протянула ему альбомный лист.

Белов смутился не от того, что его узнала на вокзале незнакомая продавщица — в Москве, случается, узнают его на улицах и в метро, он это замечает и, конечно, неловко бывает от таких прилипчивых взглядов, — здесь же он смутился от решительного отказа продавщицы взять деньги за книгу. Он не ожидал такой щедрости и где? — на вокзальной толкучке! Он, конечно, расписался на протянутом листе, пожал руку доброй москвичке и заторопился на поезд «Вологодские зори». А его автограф в просторе белого листа полетел, как журавлиный клин, в вечность времен. Шла весна 1992 года. И все тревожней ожесточалась жизнь в России...

*О Родине душа моя болит.  
Она скорбит по вырубленным  
сечам,  
По выкачанным недрам  
и названьям  
Засохших рек и вымороенных  
сел.  
Болит душа...  
И странен отголосок  
Душевной боли — мой веселый  
смех  
Среди друзей, среди живых  
и павших,  
Сплоченных снова вражеским  
кольцом.*

Эти беловские строки возникли в трудную минуту как готовность его к повседневному и деятельности

мужеству. И возникли не напрасно: во многих соотечественниках, оскудевших нравственно и духовно, уже нет сил рвануться к обустройству измученной Родины. Они слепы и не видят, что на всякую их дурость есть чья-то хищная премудрость. Но в Белове — так иной раз мне кажется — все личное одолено уже общенародным: жизнь его — это вечное ходатайство за мужицкие права, за достоинство русского человека, за спасение родной земли от всяких каналокопателей, за сущую правду-матку.

Судьба распорядилась так, что подружились мы с молодости и пошли до седых волос рядом. И с годами не слабнет во мне радостное удивление перед творческой мощью Василия Белова. Ведь как бывает в писательском деле? Сперва возникает предчувствие правды, похожее на открытие какой-то новизны жизни. Это щемящее метание духа. А из-под пера выходит лишь тщета самолюбования. Такой результат у большинства пишущих людей. Вторая глубина в творчестве — прикасание к так называемой голой правде жизни. Но и здесь не меньше разочарований, потому что голая правда оказывается слишком заурядной и неприглядной. И перо застывает в бессильном недоумении. И лишь редкие писатели и поэты достигают своим словом третьей глубины в творчестве — до самых сокровенных истин жизни, до тайн ее и пропастей. Слово Василия Белова именно такой глубины.

О его книгах накопилось уже множество статей, исследований и диссертаций. И я в свой час горячо писал о его повести «Привычное дело», ставшей уже новорусской классикой. Писал и о романе-хронике «Кануны», потрясшем читателей большевистским разгромом трудового крестьянства и щемящей правдой о возникшей в СССР обездоленности Земли и Души.

Василий Белов и поныне не отступил от этой страшной народной трагедии. Уже опубликованы три части, продолжающие «Кануны», — «Год великого перелома». Это воистину творческий подвиг!

О Василии Белове надо бы создавать достойную монографию: столь велики его труды ради настоящего и будущего России. Но где такой могучий ум и где такое отважное перо? Это тайна будущего. Ведь страшновато подступаться к писателю, которому подвластны все роды и жанры литературы: проза, драматургия и поэзия.

И публицистика. И лирика. И сказки для детей. Вот лишь малый пример его творческого могущества.

Моему внучку Саше мать прочитала красочно изданную книгу Василия Ивановича «Родничок». В ней рассказывается, как родничок сиял и полнился водицей, пока он поил прилетавших птиц и прибегавших зверушек. И наш Саша, слушая сказку, радостно сиял от такой открытой щедрости родничка. Но вот прилетел длинноногий комар-комарище и нашептал родничку, что не надо никого поить своей водицей, а надо беречь ее про себя. Родничок послушался злого комарища и перестал поить прилетавших и прибегавших к нему птичек и зверушек. И вскоре он замутился, иссяк и пропал бесследно в высокой траве. И внучек наш горестно заплакал... Вот какая сила беловского слова!

Да, в его слове всегда столько нового и неожиданного, что диву даешься. Взглянем в творческую молодость Белова и увидим, как после рассказов «Весна», «Кони», «За тремя волоками», сразу ставшими знаменитыми, быстро возникает необыкновенная повесть «Привычное дело», вызвавшая критическую растерянность во всех центральных журналах нашей страны и срочные переводы на европейские языки. Кряду с этими событиями в «Новом мире» появляется другая, также необыкновенная повесть «Плотницкие рассказы», потрясшая Александра Трифоновича Твардовского иезуитским образом колхозного активиста Олеши Смолина. А затем вдруг — «Бухтины вологодские». Завиральные, в шести томах! Жанр, доселе неслыханный в русской сатирической литературе.

А после романа-хроники «Кануны», бросившего в страх цензуру и в восторг читателей, создается жгучий нравственно-социальный цикл «Воспитание по доктору Споку». А потом — пьесы: «Над светлой водой» (она обошла сцены многих театров страны, а в Вологде выдержала около двухсот постановок за два или три сезона), затем «Районные сцены», или «По 206-й», «Бессмертный Кошеч», написанный мастерским белым стихом, и грандиозная, острозлободневная драматическая эпопея «Александр Невский»...

Но вот новое изумление читателей — Василий Белов публикует книгу очерков о народной эстетике «Лад». Книга эта — праздник ушедшей от нас родной жизни. Нужда именно в такой книге росла в народе год от

года — и она появилась, и всех обрадовала воскрешением из забвения трудового народного опыта и житейской мудрости, столь необходимых нам именно сегодня, в пору уже демократических страданий.

А затем вышел шумный роман «Все впереди»... Да что перечислять беловские книги, если они уже давно стоят в университетских библиотеках Европы, Америки и Японии! И, разумеется, в библиотеках и в миллионах домов России. Да, Василий Белов каждую книгу создает в тот момент, когда именно в такой книге нуждается само Время. Белов чутче и раньше других улавливает самую назревшую потребность жизни и таким творческим поспешанием, угадыванием как бы творит одно и самое Время. Многие критики, что кроты, лишь норы рыли вокруг его творений, яростно подкапывались под него, но самого писателя никогда не понимали, ибо были совершенно ему чужды.

Нескончаемы его тревоги и думы о родном народе. Он зорок на подноготную событий и явлений, чуток на политические зигзаги. Будто бы в нем сходятся токи со всей русской земли — от униженных деревень «За время волоками» до высоковознесенных кабинетов Москвы. Будто бы эти токи, мало кем еще ощущаемые, уже коснулись его души, как предвестья новых потрясений жизни.

Его возмущает клевета на старое русское крестьянство. Мол, оно было темное, забитое, отсталое. Мол, за Вологдой (по Ленину) царила полудикость и настоящая дикость. А за Вологдой, кроме всякого продукта, крестьянство производило еще главные нравственные ценности жизни, шедевры самобытной красоты (ремесла, дивные строения, церкви, иконы, песни, сказки), развивало и гранило великий родной язык (взгляните на сноски в «Толковом словаре» Владимира Даля). И во все времена мощно подпитывало города своими здоровыми силами. И вот такое истинное жизнепонимание крестьянства было злобно оклеветано с 1917 года. А для политического пользования оставлено искаженное представление о русском мужике только как о неумелом и ненадежном производителе продукта. Эта клевета и сегодня в ходу. Криклиевые рати журналистов и всяких экспертов в своих писаниях и речах, что называется, походя поносят наш народ, давая понять, что он крайне нуждается в умных, как они, поводырях.

Горько сознавать, что у России уже нет тылов самобытности. Таким богатым тылом являлся наш Север, но и он уже протаранен натиском злых сил — сил разрушения и грабежа. И слоняются по Северу всякие бродяги в поисках старых икон как валютного товара. И не они ли сочиняли эту частушку?

*По деревенюшке иду —  
Петушками избы.  
У старухи у рябой,  
Думаю, поись бы.*

Вот они, современные устроители жизни. Только вздохнешь да головой покачаешь.

А истина по-прежнему мерцает в той лампаде, что вознеслась над Русью еще тысячу лет назад. Это свет нашего всебратства. И русский народ, измученный дьявольскими экспериментами, по-прежнему единственен в мире по своему объединительному, нравственному и сострадательному предназначению.

Василий Белов в одной из недавних статей пишет: «Ложь обычно не рассчитана на длительное хранение и пользование, поэтому способы массового оболванивания постоянно приходится обновлять: то навязывается коммунизм, то рыночная экономика, то колLECTИ-  
визация, то приватизация, то алкоголь, то секс, то рок-музыка. Можно только гадать, чем наградят нас, что преподнесут голубые экраны (а то и голубые береты), если мы не пожелаем сдаваться на их милость...

Русский народ переболел-таки марксизмом и коммунизмом (разве это не европейские вирусы?), переболел и сохранил свою государственность. Коммунизм в России был на последнем издыхании, но тут-то и всполошились враги России. Под видом борьбы с коммунизмом они начали войну против самой России, против самих русских и их государственности. И теперь, дескать, можно легко разделить государство на мелкие части, расчленить тело России с помощью национальных чувств малочисленных народов, живущих в ее пределах.

Обманутые антирусской пропагандой народы шаражнулись от России в разные стороны, наивно предполагая выжить без нее. Заокеанские доброхоты начали спешно пособлять им через посредство джинсов, говяжьей тушеники и т. д. От первого, еще марксистского

президента (Горбачева), президенты начали плодиться, как степные сурки... Разожгли войну против православия. Поспешно внедряется неоязычество. И экуменизм, т. е. слияние с католицизмом. Горбачев не напрасно шнырял по лестницам Ватикана...

Грандиозный самообман русского человека, сотворившего попытку выжить не только без царя, но и без Бога, медленно, однако же неуклонно рассеивается. Переболев едва ли не всеми болезнями Мира, он, Русский человек, только начинает медленно выздоравливать, начинает трезветь и осмыслять собственный путь и судьбу. Родина, не дай же себя обмануть, «внемли себе!».

Этих зорких слов не коснулись ни туманы, ни румяна осторожности — они прямы и беспощадны, что гвозди. Да, в Василии Белове поразительна острота видения самой сути событий и явлений. Словно бы для него открыта и жизнь людская, и глубь времененная, и все завязи добра и зла в мире. В нем самом, в гении его просторно всеживотворящему русскому духу. Потому и народный говор в его книгах свеж и густ, как ржаное пиво, уже забытое нами, румян, как печной жар. Белов восстанавливает для молодых поколений национальное мировосприятие, пробуждает в них, да и во всех нас, генетическую память о своей великой, но для многих уже потерянной Родине. Порабощенное сознание таких людей — вот беда, которая мучает Белова. А что народом пережито, то для писателя не изжито.

Беседы с ним всегда любы уму и душе. Вот как-то говорит: надо каждому из нас заниматься своим делом. И не размазывать свои способности на всякую подёнщину. А публицистику надо бросать. Она усредняет слово. Она опасна для писателя.

— И для поэта,— добавляет, пристально глядя в меня.

Я не соглашаюсь: публицистику забросить невозможно. Она — огневщина! Она выхвачена из самого полымя жизни. А в полымя этом не только разгул политики, вранья и тщета надежд, а и людское горе, а и наши собственные прозрения. Публицистика — это мы сами из будничной подлинности. Конечно, подлинность эта верхнеслойная, первичная, а, значит, и недолговечная — не то что настоящая проза и поэзия. Однако и публицистика — бойкая кочерга. Ей не страшен любой жар жизни. Знай загребай! Нет, никак нельзя ее бросать...

Василий Иванович молчит, вижу, что не соглашается. Он всегда упорен и тверд в своем мнении. В другой раз затеялся разговор о музыке.

— Что такое музыка? — задает мне риторический вопрос и сам же на него отвечает: — Музыка возникает из трех основ — из мелодии, из ритма и гармонии этих двух начал. Классическая музыка и есть пример такого единства. То же самое являются собою народная песенная и музыкальная стихии. И та и другая едины в основном — в благотворном воздействии на человека. Они целебны для нашей психики. Мелодии лечат наши души.

Современная же музыка (рок и др.) сознательно возбуждает в человеке, особенно молодом, самые низменные инстинкты. В роке нет мелодий — безумствует лишь ритм. Начальная основа музыки — мелодия — выброшена. А ритм, периоды его злонамеренно обрывисты: скажем, вместо трех единиц протяженности звука, как требует того нормальная психика человека, ритм обрывается уже на 2,5 единицы звука. Такой обрыв в звучании страшно воздействует на мозговые центры, вызывая опьянение. Такая музыка становится наркотиком, и стада молодых людей в огромных залах, что в загонах, в безумстве ритмов и сладострастных воплей превращаются в скотов.

И Василий Иванович включает телевизор. Включил наугад, не глядя, какая это программа. И нас ослепил и оглушил беснующийся зал молодежи.

— Подражая чужому, — горько нахмурился он, — люди отрекаются от самих себя. А это и есть добровольное рабство...

А при последней встрече (видимо, в то время работал над новеллой «Душа бессмертна», вовравшей в себя, кажется, всю мудрость из пережитого им) Василий Иванович трогательно вспоминал о своей матери, доброй и мудрой Анфисе Ивановне. И я любил его мать — она была приветлива, обходительна, мастерица на бойкое золотое слово. Так вот, когда похоронили Анфису Ивановну по христианскому порядку и обычай возле возрожденной самим Василием Ивановичем прежней приходской церкви, поблизости от родной деревни, то остался он в Тимонихе, в своем старом доме, один-одинешенек. Решил дождаться здесь девятого дня. И началось! Такая метель закружила в обхват дома —

да выюнами, выюнами, что и дом закачался. Он обмер. Такой выюги еще не видал за всю жизнь.

Он учゅял прикосновение к себе каких-то бережных дуновений. Их не могло быть в хорошо протопленной избе, он это осознавал и все-таки явственно ощущал, как струилась в его лицо непонятно откуда возникшие токи. Он взглянул в красный угол, а там огонек лампадки будто бы реял от чьего-то близкого дыхания. И первоначальная оторопь истаяла в нем, и душу охватило тепло поминальной молитвы, и в перекрестьях руки сквозь лик Божьей матери проступало так близко, так живо, так милосердно — лицо своей матери. Она смотрела в него с успокаивающей верой и надеждой. И все девять дней под окнами родительского дома в Тимонихе крутились снежные выюны, как белые березы.

## «А ТАМ, ЗА ДЫМОМ...»

### Прощание с русским крестьянством

---

«Кануны» Василия Белова, скромно названные хроникой двадцатых годов,— это, может быть, самый могучий русский роман на исходе двадцатого века. Здесь ничего не выдумано, но немота архивов и слезы воспоминаний ожили здесь с такой художественной силой, что потрясают нас. Помню, как еще в 1971 году Василий Белов попросил меня прочитать первоначальную рукопись этого романа. Я, уже знаяший от своей матери страшные истории раскулачивания и всякого местного бесовства, казалось, мог бы и послокойнее воспринимать беловскую рукопись, однако она втянула меня в такой круговорот событий, что позабыл и самого себя.

Белов просил беспощадно отмечать в рукописи слабости и ограхи, и я над каждой страницей вскидывал свой бдительный карандаш, но когда закончил «ревизию», то увидел на полях лишь знаки восторга. И даже встревожился за свою восхливательность: Белов может подумать, что читал я невнимательно или подобострастно. И взялся за повторное чтение, и обнаружил, что беловская проза — это не зеркальное отражение, а пучковый свет народной жизни. Он прожигает толщу

будничности до неумирающих истин. И прошлое никогда не затухает вовсе: оно или подкашивает настоящее, или судит будущее. Время — по Василию Белову — это энергия народной нравственности. Если нравственность народа падает, то загнивает жизнь, и время теряет свою будущность.

Нет, не нашел я никакой фальши ни при втором, ни третьем прочтении, но каков же был удар, когда эту же рукопись спустя полгода Василий Белов показал мне испещренной сплошь грозными пометками. Она просматривалась в ЦК, в идеологическом ведомстве М. Суслова, и была по сути зарублена. А те главы, в которых так сущностно, так неожиданно изнутри и по-житейски изображались Сталин и Калинин, Бухарин с Рыковым и Томским, вовсе отсекались багровым крестом. Но Василий Белов не поступился правдой и совестью и даже не подумал о публикации где-то в чужих местах. И тогда лишь журнал «Север» набрался храбрости, чтобы сокращенно напечатать роман «Кануны». Честь ему и хвала!

И вот теперь, когда открываешь эту книгу, изданную уже миллионными тиражами, и читаешь в первой главе такие запевные слова: «шла вторая неделя святок, святок нового тысячя девятьсот двадцать восьмого года», то даже не замечаешь, что сам пребываешь уже в иных годах. Настолько жгуче, зrimо и неумираемо наше давнее в беловской хронике! Она распахивается в крестьянский мир, как избы — во Вселенную: так звонко и знобно, что слышно, как индевеют звезды и пылают лучинки, как намерзает на окнах страх и копится в умах погибель.

Взгляд и слух, и познание писателя настолько вездесущи и проницательны, что от их прикосновения стихия минувшей жизни как бы вновь самовозгорается и творит самое себя уже без авторского вмешательства. Такое живописание случается в литературе крайне редко.

«Кануны» Василия Белова — это трагическое прощание с нами великого крестьянства. Это его последняя Масленица «в деревянных санях, расписанных по красному черным хмелем». Уже вломился ночью в Шибановский сельсовет уездный уполномоченный Игнаха Сопронов, уже вытащил из кармана вороненый наган и утвердил его на алом сельсоветском столе; вот вам, мужики, наш «черный хмель по красному!..

А сама Шибаниха, между тем, как и тысячи деревень по Руси, еще жила простодушной радостью святок и привычной свободой крестьянского миропорядка. Мужики и бабы, парни и девки еще охотно тянулись на посиделки к своей ровне по возрасту, интересу и родству. И потому в Шибанихе, как и во всем мире, людские сбороища завихрялись одновременно и разномастно: то словно кружение речных перекатов, то словно окружение диких метелей. Все шире и дале — от Шибанихи до Ольховиц, от Вологды до Москвы. Круг за кругом — и везде уже «сновала черная мгла. Мешаясь с ярым светом, она переходила в дальний лазоревый дым, а там, за дымом... клубились вглубь и вширь пустые версты»... В том круге событий чернел омут дьявольской энергии.

А люди, какие люди в «Канунах»! Вот в просторном пятистенке, отнятом у бывшего торговца Лошкарева, расхаживает в смятении Колька Микулин (по-деревенски Микуленок), молодой парень, но уже председатель Шибановского ТОЗа и лавочной комиссии, и здешнего сельсовета. Вся власть в Шибанихе, казалось, была в руках Микуленка. Так казалось и мужикам. На самом же деле власть гнездилась в других руках. Вот она, эта чужая власть, и допекла Микуленка, вывела его «изо всех рамок». На председательском столе лежала бумага из уезда. «...Требую в бесспорном порядке в срок до первого января сообщить результаты проработки тезисов ЦК и контртезисов оппозиции, результаты обсуждения резолюции ЦК о работе в деревне и неукоснительном проведении классовой линии. Зам. зав. АПО Захарьевского укома ВКП(б) Меерсон».

Вот так: в самый разгар народного праздника — грозный окрик и указующий перст, как жить по-новому. Все родное вдруг становится чужим, а ясное смолоду — непонятным. Слова директивы торчали, что колья, а ниже подписи таращились буквы Р. С. и приписка красным карандашом: «Не ограничивайтесь одной констатацией фактов». — «А что это такое? Констатация — записался на новом, издевательском слове председатель Шибанихи. — Кооперация, кастрация... Не то, вроде не подходит. Вот мать-перемать!...» И подлачиваясь под меерсоновский язык, он также сучковато сочиняет свой ответ «по преломлению 15 партсъезда» в Шибанихе.

Яростная политизация слов, чуждых для слуха и угарных для сознания,— вот начало всякого насилия. И чем навязчивее политика, тем двуличней жизнь, а чем больше партийности, тем меньше житейского творчества. Народное бытие и политиканство кроваво несовместимы, и эти истины выстраданы в «Канунах» Василия Белова.

И как образ и тип зародившегося в ту пору лихого прохиндейства, в родную Шибаниху заявился на святки и приятель Микуленка Петька Гирин по прозвищу Штырь. Он служил курьером в канцелярии у самого Калинина, а потом в особом отделе ЦК у набиравшего силу Маленкова, но таинственно скрытничал о своем месте в Москве. Потом он, покаявшись перед Бухарином за свой на него донос, сфабрикованный по наущению Маленкова, исчезает из столицы и возникает в Ленинграде уже не Гирином, а Гиринским, затем объявляется в Вологде уже Гиринштейном. Такая бесовская смена своих фамилий и личин ради спасения своей шкуры, увы, становилась нормой жизни. «Новое место — и сам новый» — вот дух того времени. И утрата своих фамилий, имен и отчеств, то есть личностная утрата самих себя, казалось, никого уже и не заботила.

Лишь деревни упорно держались прежнего порядка и обычая. И в Шибанихе, в тот самый вечер, когда в сельсовете столкнулись Микуленок с Петькой Гирином, а потом нагрянул к ним Игнах Сопронов, чтобы покачнуть вековой порядок и обычай, в просторной хоромине Евграфа и Мары Мироновых — таких работящих, что и в праздник не сидевших без дела — хозяин сучил нитки для верши — сошлись добрые гости. Из Ольховиц притянули Пачины: шурин Данило с сыном Павлом — Евграфовым любимцем за молодецкую стать и ухватистость в работе. Рядом присели на лавку Иван Никитич Рогов с женой Аксиньей. Они чуяли сердцем, что дочка их Вера — славница-красавица на всю Ольховскую волость — сохнет от любви вот к этому парню, и хорошо бы, думалось им, взять такого молодца в свой дом притаком. А Палашка — дочка Мироновых, песенница и бойкуша, уже наладилась на святочное игрище, чтобы свести там Павла и Верушку, а самой бы в потайной радости попасть в руки Микуленку, засевшему с вечера в сельсовете. В теплой и светлой избе Мироновых народ собирался обстоятельный, степенный, потому на виду и сидели Степан Клюшин, черный, с разными

глазами книгочей, и отец его Петруша, по-апостольски белобородый старец...

А в эту же пору у Кеши Фотиева, мужичонки вечно бесхлебного и безлошадного, зато охочего на всякую забаву, собралась своя компания. Его избенка с четырьмя окошками без вторых рам подмигивала еловой лучиной взбудораженному миру. Здесь тешилась вволю шибановская худоба и беззаботность. И поп-прогрессист, по прозвищу Рыжко, больше похожий на беса, чем на священника — вот оно, воинствующее безбожие! — здесь резался с мужиками в карты. Тут и Акиндин Судейкин, зоркий выдумщик и стихотворец, добывающий себе прокорм своим племенным жеребцом, могучим Ундером; тут и старичок Савватий Климов, по его хвастливым словам, не сделавший «за свою протяжную жизнь с женским полом ни единой промашки», тут и ловкий игрок Северьян Брусков, по меткому прозвищу Жучок...

Сколько в романе всякого люда, и каждый — наособицу, и нету во множестве их ни одного случайного лица — от нищего Носопыря, живущего в бане и забывшего свое имя, до вождя Сталина, вкрадчиво ступавшего сапогами по кремлевским коврам и обдумывавшего письмо Кагановича с Украины, требовавшего обострить и разжечь классовую борьбу в деревне. Казалось бы, какая связь между нищим и вождем, но связь была прямая: в стране не хватало ста миллионов пудов хлеба, значит, эти миллионы надо выгrestи из мужицких подворий, а чтобы выгrestи, надо опереться на таких «пролетариев», как шибановский кричвой Носопырь. Да, Каганович, который всегда врал и запугивал, в этот раз подталкивал его, вождя, на меры чрезвычайные.

И надо всей этой крестьянской вселенной, как толчки уже близкого землетрясения, вскипала в романе смертельная схватка Павла Рогова с Игнатом Сопроновым. Как молодой побег вскидывается и матереет на корневых глубинах, так и Пашка Рогов смала вбирал в себя силу и задор своего родства и распахнутое торопился в жизнь. В нем горела истовость,вшущенная дедком Никитой, и смекалка, перенятая от отца Данилы, и беспредельное трудолюбие, обласканное дядей Евграфом. Он рано осознал себя устроителем такой жизни, при которой хлебное счастье вставало бы вро-

вень с мужицким трудом. Потому он и затеял поставить в Шибанихе на поднебесном угоре свою ветряную мельницу. Он нашел в лесах и срубил великую сосну, и на могучем стволе ее, выбиваясь из сил, возводил размашистый ветряк. Главы романа, рисующие этот страстный и мучительный подвиг Павла, прямо-таки пылают горькой поэзией, ибо подвиг этот, увы, был не ко времени. Наперекрест Павлу Рогову встал Игнат Сопронов.

Кто он, откуда взялся? — «А наш-то Игнаха,— сказал вглядчивый в жизнь Никита Иванович, свояк Павла,— от нас самих. Сами возрастили!...». Вот это-то признание и повергло мужиков в страшное недоумение и смятение. «Сопронов сузил водянистые, цвета снятого молока глаза и взглянул на шибановские фамилии: всего пять, от силы семь хозяйств были, по его мнению, настоящими бедняцкими, остальные сплошь зажиточные и кулаки. Он не курил с того времени, как вступил в партию, но сейчас ему как будто чего недоставало. Вспоминая о куреве, подумал: опять же взять и другие деревни. Что ни изба, то и зажиточный, у каждого по лошади и корове, у многих по две, а то и по три коровы. Ожили после земельного передела! Наплодилось за эти годы кулачков, ничего, еще прижмут хвосты, запоют не то...»

Сопроновы — два брата, Игнат и младший Селька,— запустившие свой земельный надел до того, что зарос он бурьяном, и жившие лишь случайными приработками — с животной завистью встали поперек нараставшего благоденствия родных деревень. Они не то чтобы глубоко понимали партийную идею, а ожесточенно гордились тем, что она, эта идея, полностью выражает их злобную сущность.

«Пришло, значит, такое время — мужиков к ногтям», — сказал горестно Евграф Миронов, и раскулачивание покатилось по деревням. Сопроновы рванулись в дело. Сперва облагали мужиков невыносимыми налогами, потом с наганами загоняли их в колхозы.

Да, Роговы, Пачины, Мироновы жили на русской земле. Много их трудилось. Миллионы! Но победили Сопроновы. Эти живы и поныне! Скрипя зубами и щурясь мутными глазами, они белеют лицами, когда видят, что власть уходит из их рук. Да, образ сопроновщины, созданный Василием Беловым, страшен и живуч. Этот образ знаменует по существу весь наш многострадальный

двадцатый век, и беловские «Кануны» — это такое художественное и философское постижение судьбы русского народа, что трагизм истин, раскрытых писателем, остерегающе поучителен и для всего человечества.

## «С НИМ НЕ СОБЬЕТЕСЬ С ПУТИ ПРАВДЫ»

---

Василий Белов! Так много народной жизни вобрало в себя и отразило это имя, что все личное и частное в нем заслонилось правдой великого откровения. И живет теперь это имя в сознании миллионов людей как образ России, трагически идущей в свое будущее. Вот почему имя Василия Белова так широко слышно — от «неперспективных деревень» до мировых столиц.

И самое удивительное, на мой взгляд, заключается в том, что в становлении Василия Белова как писателя, в этом творческом феномене, нет ничего удивительного: ведь накопление его сил происходило в глубине русской жизни. И происходило самым обыкновенным образом, незаметно и неотличимо в среде своих ровесников, в тревоге тридцатых годов. Матери и отцы той поры заботились лишь о том, чтобы в детях копилась совесть да росли они прилежными работниками. А уж кто кем потом станет, об этом не гадали: людские пути на Руси неисповедимы.

Семья Беловых — искони крестьянская семья. Вологодский краевед, ныне покойный Владимир Капитонович Панов, разыскал-таки в архивах их родословную: сермяжные предки Василия Ивановича значатся в ревизских описях семнадцатого века. А глубже — уже тьма: это не дворянский род. И невольно подумаешь: сквозь какие же тайны поколений, из каких же колодцев времени поднимаются в нашем народе гены талантливости! Дивно да и только.

Деревня Беловых Тимониха — издревле мастеровитая и голосистая. Таких деревень, светлых да ладных, на нашем Севере было не счесть. В окошках — березы, на задах — бани, а вокруг тяжелая радость полевого и сенокосного труда. И зелеными холмами

во все стороны ширилась не знавшая здесь крепостного рабства крестьянская оседлость — хранительница народной нравственности.

Родители писателя: отец Белов Иван Федорович — плотник и столяр, человек кипучего и смелого нрава, совсем молодым погиб на фронте в 1943 году. Мать, Анфиса Ивановна, овдовев, бедствовала с пятерыми ребятишками в осиротевшей избе. Велик подвиг ее жизни: всех детей поставила на ноги, всю силу рук и души отдала им. Живя с сыном Васей, частенько оглядывалась в колхозную свою, выстуженную судьбу. Память у Анфисы Ивановны была зоркая, дума протяжная, а речь мудрая. Многое в Василии Ивановиче — от родителей. Мне почему-то кажется, что горячая отвага его характера — от отца, а глубокая разумность — от матери.

Он очень рано, еще в детстве, осознал себя работником. Да и было ли детство-то? Колхозные трудодни — одна маэста да слезы, Надейся на свой огород да на лес грибной и ягодный, да на озеро окуневое. Сызмала в руках — лопата да топор, корзина да удочка. Он памятливо вбирал в себя всю стужу и горечь катившейся под уклон народной жизни. Еще не умея это выразить, он уже тогда нес в себя и свет, и тяжесть великого знания, называемого в народе божьим даром. Вот уж воистину: где родился, там и пригодился.

Кратко — в один анкетный образ — уместил Василий Белов свою жизнь. Он, как видим, прошел самый низовой, самый простонародный путь познания жизни и себя в ней. Уж кто-то, а он мог бы с полным и гордым правом заявить: «Вышел я из народа». Но он этого никогда не заявлял, потому что «из народа» никогда не выходил. Наоборот, с годами все глубже, все сродственней входит он в эту первородную стихию жизни и настолько полно ее постигает и выражает, что живописная историография северной русской деревни под его пером все более и более обретает черты обще-русские, общенациональные, а в тончайших своих прозрениях поднимается до общечеловеческих мировых высот.

В Василии Белове нет национальной замкнутости и ограниченности, ибо разум в нем выше пристрастий. Но нет в нем и национального отступничества, ибо Родина для него — свет гражданства. Я думаю, что тот,

кто кричит о любви ко всему человечеству поверх голов своего народа, тот обманщик. Если желаешь принести хоть каплю добра для всего человечества, обрати свой порыв во благо родному народу, и это твое добро через отзывчивую народную душу соприкоснется со всеми людьми мира.

Жизнь человеческая в высшем своем проявлении — это поступки добра и сострадания. Михаил Пришвин однажды записал в своем дневнике: «Правда требует стойкости: за правду надо стоять или висеть на кресте; к истине человек движется. Правды надо держаться — истину надо искать». Какие точные слова! В свете этой пришвинской мысли жизнь Василия Белова — восхождение в гору от поступка к поступку. Я всегда поражался его безошибочному предчувствию событий и знанию того, что следует делать завтра, послезавтра и т. д. В глубине его зоркой сущности не истрачивается запас уже заранее обдуманных решений. Пусть не сразу и не всем очевидна бывает правота его позиции, но подтверждение ее всякий раз непременно наступает в жизни и обескураживает даже крупных людей.

В начале семидесятых годов из Академии наук СССР была подброшена коварная идея о сносе «неперспективных» деревень и развитии центральных усадеб да гигантских животноводческих комплексов. Вскыхнулась вся страна. Я помню, как в обкоме партии на встрече с творческой интеллигенцией первый секретарь А. С. Дрыгин рисовал картину очередного переустройства нашего горемычного сельского хозяйства. Все слушали завороженно. Лишь один Василий Белов встал и заявил, что в этом проекте — гибель не только деревенской жизни, а и вообще всего крестьянства, и от этого проекта надо отказаться. В зале повисла грозная тишина. Обком — за проект, писатель — против проекта. Но А. С. Дрыгин, разумно смягчив тон и обстановку, не унизил достоинство писателя, хотя и не послушался его.

Василий Белов не отступил от своего мнения, бился за правду до конца, написал прекрасную пьесу «Над светлой водой», которая лирическим взрывом прокатилась по многим театрам России и заставила миллионы зрителей задуматься о судьбе нашей деревенской родины. И теперь уже все видят, что объявленная ее «неперспективность» нанесла сокрушительный удар по на-

родной жизни. Вот именно этих упущенных лет, не говоря уж о более ранних загибах и перегибах, так не хватает для деревенского возрождения сегодня, когда наконец-то пробудился в нас здравый смысл и стыд за бедность своего существования.

А зловещий проект переброса стока северных рек в Волгу! И вновь лучшие наши писатели, а в их числе и Василий Белов,— в неотступной борьбе с Минводхозом. Сколько собраний в Вологде и в Москве, сколько бесед с учеными и членами Политбюро, сколько встреч с народом! Вроде бы возникла надежда на благоразумие, на прекращение работ, но нет: вновь обман — как гипноз. В низовьях Волги копают гигантские каналы, чтобы растасить ее воду по степям и повернуть-таки северные стоки на юг. Великая река погибает. И вот создается общественный комитет спасения Волги. И председателем правления общественного комитета спасения Волги избран Василий Белов. Какая ответственность вновь легла на его душу?

Коллективная доверительность к нему возникает потому, что в его правоте ощущается сила личного влияния на людей и на государственные дела. Не в красноречии, а в честной немногословности да мудрой проницательности таится его личная сила. Вспоминается мне борьба с пьянством, за трезвый образ жизни. Чтобы иметь право принародно противостоять этому злу-горю, Василий Белов сперва в самом себе изжил слабости — начисто отказался от куренья и выпивок. Неуступчивость его, непримиримость даже к мелочам в бытовой распущенности — вовсе не брюзжание, как кажется иным его недоброжелателям, а боль и стыд за наше безумство.

Желание видеть родной народ живущим здоровой и нравственной жизнью. Помнящим свои традиции и свою культуру — вот что заставляет Василия Белова ввязываться в споры с газетных полос и общественных трибун. Беспамятство завело нас так далеко, что уже виден обрыв в пропасть. Многие люди радость жизни ищут теперь не в труде, а в массовых развлечениях и увеселениях. Никогда прежде не бывало в России такой огромной армии «увеселителей», так называемых «специалистов» по воспитанию людей, по навязыванию им своего вкуса и взгляда на жизнь. Народная нравственность и национальная культура, десятилетиями утесняемая административной системой, теперь подвергается атакам

и так называемой «массовой культуры», хлынувшей с Запада. А еще Лев Толстой предупреждал, что когда культура перегоняет нравственность, то это — великое бедствие. И мы теперь воочию видим: в сознании и душах многих людей клубится, что угар, «психическая спутанность» как следствие утраты своих моральных опор.

Василий Белов такому тупиковому состоянию общества противопоставляет пример народного жизнетворчества, так блистательно выраженный им в книге «Лад». А другие его произведения! Выпускаются они миллионными тиражами и раскупаются мгновенно — такова читательская жажда на беловское слово. Выше я упомянул, что свою автобиографию он вместил в один анкетный абзац. А вот его писательская жизнь уже не умещается ни в трехтомник, ни в новые книги, издающиеся у нас и за рубежом. Потрясающи своей философией жизни образы, созданные им — Иван Африканович и Катерина из задушевной повести «Привычное дело». Олеша Смольин и Авенир Козонков из остроугольных «Плотницких рассказов». Павел Пачин, Игнаха Сопронов среди мужиков и баб из великого романа «Кануны». Медведев и Бриш из жгучего романа «Все впереди», Кузьма Иванович Барахвостов из лукавых «Вологодских бухтин»...

Да разве упомянешь всех полюбившихся нам или запомнившихся героев из беловских книг! Мне, например, еще очень дорог образ Ивана Тимофеевича из великого рассказа «Весна» и очень близок образ Колоколены из маленького — всего в одну страничку — шедевра. Да, перо Василия Белова светится минувшим и будущим временем России. К его творческому пути бережно относились чуткие к правде века классики нашей литературы — Михаил Шолохов, Александр Твардовский, Василий Шукшин... Александр Яковлевич Яшин в одном из писем ко мне так наставительно отозвался о Белове: «Помните: это очень большой талант, большой писатель и умница... С ним вы не съебетесь с пути правды и подлинного искусства».